

Александр Орлов

Товарищ Сердце

Для меня он навсегда останется красивым, высоким, широкоплечим с огромным рюкзаком за спиной и двенадцатиструнной гитарой напевес. Все мои первые годы в школе были связаны с ним. Природная фактура и искромётный артистизм могли бы позволить ему заменить в кино актёра Александра Домогарова, особенно в приключенческих картинах, повествующих о западноевропейском средневековье.

Неутомимый романтик, влюблявший в себя всех окружающих, которого всегда окружали гирлянды женщин. Впервые я увидел его в моё первое учебное школьное утро. Оно было немного прохладное, и мой первый классный руководитель, в тёмно-сером костюме, белой рубашке с аккуратно повязанным синим галстуком и комсомольским значком на лацкане пиджака, обращался к нам и всем, кто начинал новый учебный год. Мы провели вместе три года. Он стал неотъемлемой частью каждого из нас. Потом у него был последующий класс, который он так и не довёл до выпуска из начальной школы. Он ушёл из школы неожиданно. Пропал! Казалось, навсегда. Вновь он появился в школе уже в новом качестве: он проводил часы политической информации в средних и старших классах школы. Он появился неожиданно, как и исчез. Это вызывало у всех запомнивших его чувство новой жизни, совсем не похожей на предыдущую.

Прошло ещё два года, и он исчез как раз перед моим последним двухлетием в школе. Но на наш выпускной он пришёл. Казалось, его ждали больше всех. Он был счастлив, как бывают счастливы родители за своих детей. Он был настолько праздничным и весёлым в белоснежной рубашке и белых брюках, что ощущение радости за всех вместе и каждого в отдельности распространялось по всей школе. Григорий Александрович Фонарёв — мой первый классный руководитель.

Мне не забыть, как мы сидели у него дома в первое лето после школы. Он, как и ранее, пел песни под гитару, и мы говорили честно и долго.

— Саш, а у меня была кличка? Как вы меня называли или называете между собой? — с ухмылкой поинтересовался Григорий Александрович.

— А вы знаете, никак! Так, порой — Фонарь, — робко ответил я.

— Нет, — рассмеялся он и вдарил ладонями по коленям. — Это школьное прозвище никогда от меня не отвяжется.

— В основном всегда Григорий Александрович, редко Гриша, кто-то сыронизировал и прозвал вас ГАФ, с отсылкой сразу к фильму «Наше призвание» и к мультфильму «Котёнок по имени Гав», — сказал я.

— Помню этот фильм, там ещё прекрасный подбор актёров, — обрадовался Григорий Александрович.

— Да! Павел Кадочников, Елена Шанина, Ия Саввина, — начал перечислять актёров я.

— Георгий Тейх, Валерий Золотухин, Валентина Теличкина, Василий Мищенко, — казалось Григорий Александрович готов перечислить всех актёров фильма, но в этот момент мы рассмеялись.

— Ну, давай! — предложил мой первый классный руководитель.

Мы выпили заранее приготовленный напиток по особому рецепту Григория Александровича. С водкой в Москве были проблемы, а вот спирт можно было купить, и из него получался замечательный напиток, который я забрендировал как «Фонарёвка». По вкусу спирт разбавлялся лимонным напитком и немного водой, так получилось жгучее и сильнодействующее пойло.

— Ты читал произведения писателя Николая Огнёва, по которым снят фильм? — спросил Григорий Александрович.

— Нет, — бросил я.

— Обязательно напомни мне перед уходом, я тебе дам его книги. У меня есть его повести «Дневник Кости Рябцева» и «Исход Никпетожа». Его настоящее имя — Михаил Григорьевич Розанов. Он работал педагогом в Обществе попечения, а потом, после революции, — в московских колониях, преподавал в Литинституте, — Григорий Александрович рассказывал очень заинтересованно; казалось, что этот автор значителен для моего первого учителя.

— А вы знаете, что этот фильм снял папа Наташи Полоки, она училась на год младше нас? — спросил я.

— Нет! — удивился Григорий Александрович.

— Как же? — теперь уже пришла моя очередь удивляться. — Она ещё высокая такая, кличка у неё была Продай полметра?

— Нет, не знаю! — и Григорий Александрович расхохотался до слёз. — Хорошая кличка, — всё ещё улыбаясь, сказал он.

— Как так? — не переставал удивляться я. — Мы все учились на одном этаже! Точнее, вы были классным руководителем у нас в первом «Б», ваша жена Маргарита Борисовна, которая нас неизменно ругала, — в первом «А», а потом мы перешли во второй, и пришли новые перво-класски, и среди них нельзя было не заметить Наташу Полоку, это как Эйфелеву башню в Париже не разглядеть, — не унимался я.

— Нет, не помню её! Я был весь заиклен на вас, никого не замечал, порой даже на жену времени не оставалось, — с улыбкой и горечью сказал Григорий Александрович.

— Тогда почему вы ушли из школы? — осторожно спросил я.

— Вас выпустил, пришёл мой новый класс, а перед глазами вы, и я понял, что люблю я только вас и больше никого и никогда так любить не смогу. Поэтому я их и не довёл до третьего класса. Если не любишь детей, которых учишь, перестаёшь любить своё дело, а так работать нельзя, за зарплату, без души, это лживо, и в первую очередь по отношению к детям. Я понимал, что вы рядом, выше одним или двумя этажами, но вы были очень далеко от меня, дети взрослеют быстро и память у них короткая, — виновато улыбувшись, сказал Григорий Александрович.

— Это не всегда так! — уверенно, но негромко произнёс я.

— Эх! Хочется верить! — растерянно ответил Григорий Александрович.

Я негромко запел:

Остался дом за дымкою степною,
не скоро я к нему вернусь обратно.
Ты только будь, пожалуйста, со мною,
товарищ Правда,
товарищ Правда!

Григорий Александрович мгновенно схватил гитару, и следующий куплет мы пели уже вдвоём:

Я всё смогу, я клятвы не нарушу,
своим дыханьем землю обогрею.
Ты только прикажи — и я не струшу,
товарищ Время,
товарищ Время!

Мы пригубили ещё «Фонарёвки», закусили яблоками, и я, глядя на Григория Александровича, сказал:

— А вы помните, как нас водили в походы? Как мы под Волоколамск к разьезду Дубосеково несколько километров с рюкзаками под палящем солнцем прошли? Как стояли там, где панфиловцы, которых теперь грязью поливают, сражались? — спросил я, но воспоминания меня не отпускали. — Помните? Нам кому семь, а кому восемь лет было, но мы тот поход из всех наших походов помним, поэтому и все слова песни: «Кружилась в поле злая осень, шумела поздняя листва. А их в окопе двадцать восемь, но за спиной у них Москва...» — до сих пор помним.

Начинало темнеть. «Фонарёвка» расходилась по нашим кружкам, а количество яблок на столе постепенно убывало. Мы говорили и пели, пели все песни, которые знали оба, песни, которым обучил нас наш первый классный руководитель. До самого утра из квартиры Григория Александровича можно было услышать «На далёкой Амазонке не бывал я никогда...», «В Кейптаунском порту...», «Песенку кавалергарда»... Близились рассвет, и я спросил у Григория Александровича:

— Почему вы вернулись в школу?

— Пришёл Горбачёв, началась перестройка, и я посчитал, что буду нужен вам, чтобы разъяснить, что происходит. Но вы уже отвыкли от меня, у вас была своя, более взрослая, подростковая жизнь. Я сам многое не понимал, но хотел вас уберечь, — и Григорий Александрович опустил голову и закрыл лицо руками.

— Знаете, я хорошо помню некоторые события. В начальной школе как вы меня напугали, когда я болтал во время урока, и вы вытащили из ящика стола целлофановый пакет с октябрятскими звёздочками и сказали: «Ты у меня, Орлов, её никогда не получишь!» — я не успел договорить.

— Господи! Какой я был кретин! Ты меня прости, ради Бога! — расстроился Григорий Александрович.

— Да что вы! Это я испугался до первой перемены, а потом октябрятский значок вообще не носил, и вы меня опять ругали, а я просто не люблю значки, — успокаивал первого учителя я. — И ещё тот час политической информации...

— Нет, нет, всё, больше ничего мне не припоминай, — перебил меня Григорий Александрович.

— Подождите, мы же все тогда и были согласны с вами, и до глубины души не понимали трагичность происходящего. Выход Эстонии, Литвы, Латвии весной тысяча девятьсот девяностого года из состава СССР был для нас шоком. Ещё совсем недавно мы же все болели в международных матчах за вильнюсский «Жальгирис», минское, киевское и тбилисское

«Динамо», ереванский «Арарат», бакинский «Нефтчи», за нашу сборную в финале чемпионата мира в Германии, олимпийских чемпионов Сеула. Они все были наши! Мы любили литовских баскетболистов Сабониса, Марчюлёниса, Куртинайтиса, мы болели за наших ребят, победивших в финале тех же олимпийских игр тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года сборную Бразилии, и никто не думал, что Михайличенко — из киевского «Динамо», Кешташвили — из тбилисского, что Яровенко — из алма-атинского «Кайрата», это была сборная единой страны, и страна была едина. Но вдруг потом раз — и мы все не вместе: уже в ноябре Грузия вышла из состава СССР, потом Азербайджан... Это было сложно принять и понять. Всё, что вы тогда говорили, было важным для нас, но мы ещё долго жили со старым советским воспитанием и воспринимали всех, кто нас предал, как братьев, но они такими уже не были, — договорил я.

— Какую страну просрали... — наполняя наши кружки, сказал Григорий Александрович. — Эх, Сашка, а что будет дальше? Вера? Куда исчезла наша вера? Как смотреть в глаза тем, кто отстоял Москву, разгромил врагов под Сталинградом, прорвал блокаду Ленинграда, освободил Киев, Минск, Варшаву, Белград, Софию, взял Кёнигсберг и Берлин?

— Надо жить... — я обронил это тихо, но тут же словно очнулся и сказал: — Так, как в другой песне у Рождественского: «И живу я на земле доброй за себя и за того парня. Я от тяжести такой горблюсь. Но иначе жить нельзя, если всё зовёт меня его голос, всё звучит во мне его песня». Как по-другому?

— Видимо, по-другому — это с Богом, — неожиданно для меня сказал Григорий Александрович. Он был задумчив. — Если мы так мучаемся на земле, если нас, целый народ, способны в течение менее чем столетия так предавать, то, значит, есть высшая правда, и она не на земле, она там, на небе, и мы её ощущаем с каждым восходом солнца, в ночном сиянии звёзд, и она доступна только тем, кто верит, а значит, и надеется на вечную жизнь, и любит всё, что создано невероятными усилиями с помощью дарованных свыше талантов, и всё это кто-то даёт, и другого объяснения, что этот дар — высший и он от Бога, у меня нет. Я хочу креститься. А ты крещён? — спросил мой первый учитель.

— Да, — коротко ответил я.

Мы снова запели песню из кинофильма «Как закалялась сталь»:

Я снова поднимаюсь по тревоге.
И снова бой, такой, что пулям тесно!
Ты только не взорвись на полдороге,
товарищ Сердце,
товарищ Сердце!
В большом дыму и полночи, и полдни.
А я хочу от дыма их избавить.
Ты только всё, пожалуйста, запомни,
товарищ Память,
товарищ Память.

Мы растались рано утром, когда августовское солнце сияло в последний раз этим летом. Больше мы никогда не сидели за одним столом, и не говорили, и не пели наши песни. Мы простились со страной и школой, которые нас воспитали. Иногда я встречал Григория Александровича на улице, и мы говорили о жизни, ребятах, хотели встретиться, но дальше разговоров дело не дошло.

Прошло девять лет, и мы при встрече обменялись мобильными телефонами, поговорили и решили, что обязательно должны встретиться.

Утром раздался телефонный звонок, и Григорий Александрович говорил, что пришла весна и что в этом году десять лет нашему выпуску, его выпуску, что он хочет покреститься, что время меняет всё, что невыносимо узнавать о своих бывших первоклашках новости, которые сводят его с ума.

— Как это всё слышать? Как это всё узнавать? Этот сидит, этого убили на «стрелке», одна стала проституткой, другая торгует наркотой. Что с моим классом? Эх, Саша, я раньше был таким кретином, но я же во всё это верил и вас этой вере учил. В страну, вождей, партию, народ, дружбу, любовь, наконец. А что сейчас? Что вокруг? Единственное, что я для себя решил, — это то, что надо покреститься, даже если это дико звучит из уст бывшего комсомольского вожака. Эх, «ты только не взорвись на полдороге, товарищ Сердце, товарищ Сердце!»...

В телефонной трубке слышались гудки. Я подумал о том, что сейчас идёт бой, и он, видимо, такой же, как в песенных строчках, написанных Робертом Рождественским. Именно сейчас вокруг тесно от видимых и невидимых пуль, которые уничтожают всех и вся, и никто не знает, сколько лет или десятилетий будет идти бой, и кто останется в живых, и сколько ещё будет погибших.

Сердце моего первого школьного учителя взорвалось на полдороге, оно не выдержало всего того, что происходило вокруг, теперь товарищ Память напоминает мне, как надо уметь тратить себя, тратить так, чтобы хватило на всех, кто в этом нуждается.